

## Ретромания как парадигма мироотношения наших дней

DOI 10.15826/koinon.2020.01.1–2.007  
УДК 321.7 + 32.019.51 + 82-94 + 316.322

### РЕТРОПОЛИТИКА, ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ДЕМОКРАТИЯ И ПОПУЛИЗМ

**Н. Е. Копосов**

Университет Эмори  
Атланта, США

**Аннотация:** В статье исследуются генезис и эволюция феномена исторической памяти в контексте трансформации политических идеологий. Исходной точкой анализа стал феномен мемориальных войн в современном мире. Автор прослеживает истоки и этапы развития исторической памяти в связи с требованиями демократической политической культуры на Западе. Эпоха памяти пришла на смену эпохе исторически-ориентированных идеологий («больших нарративов»), начавшейся в эпоху Просвещения. Эпоху устремленных в будущее идеологий сменила эпоха исторической памяти, символом чего стало выдвижение Холокоста в центр исторического сознания на Западе и институционализация памяти об этом событии. Исследована роль национальных романов, в которых важную роль играли героические деяния и категория будущего в формировании наций, объяснены причины и формы проявления кризиса национальных романов после Второй мировой войны. Показана связь культурной гегемонии левой интеллигенции с существенными изменениями в историческом сознании и возникновением культуры жертв. Описаны формы проявления культа наследия, превращения наследия в одну из главных политических идей современности и тесно связанной с ним «эры коммемораций». Выявлены неоднозначные последствия подъема исторической памяти («мемориального бума»), в центре которой находятся

жертвы насилия: высвобождение от власти «больших нарративов» оказалось увязанным с упадком проектов будущего; установление более свободной и непосредственной связи с прошлым (подъем мультикультурализма и расцвет групповой памяти) было использовано правыми популистами и вылилось в разнообразные варианты ретрополитики. «Соревнование жертв» стало основным содержанием «битв за историю», что вызывает сегодня острую критику ретрополитики. Доказано существование взаимосвязи между наступлением эпохи исторической памяти и соревнования жертв, с одной стороны, и эпохой неолиберализма и неоконсерватизма — с другой. Рассмотрено сопряжение исторической памяти и правого популизма. Выявлены различия кризиса будущего в России и других странах Восточной Европы, связанные с выдвижением правого популизма на авансцену политической жизни.

**Ключевые слова:** мемориальный бум, историческая память, правый популизм, национальный роман, ретрополитика, наследие, память о Холокосте.

**Для цитирования:** Копосов Н. Е. Ретрополитика, или Историческая память, демократия и популизм // Koinon. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 144–163. DOI: 10.15826/koinon.2020.01.1–2.007

## RETROPOLITICS, OR: HISTORICAL MEMORY, DEMOCRACY AND POPULISM

N. E. Kopusov

Emory University  
Atlanta, USA

**Abstract:** The article examines the genesis and evolution of the phenomenon of historical memory in the context of transformations of political ideologies. The starting point of the analysis was the phenomenon of memory wars in the modern world. The author traces origins and stages of historical memory development in line with the requirements of the democratic political culture in the West. The epoch of memory replaced the age of historically-oriented ideologies (“big narratives”) that started in the Enlightenment. The era of historical memory followed the epoch of future-oriented ideologies, and the promotion of Holocaust in the centre of historical consciousness and the institutionalization of memory about this event became the symbol of this new era. The author explored the role of national romances, and heroic deeds and categories of the future in the formation of nations played an essential role in them. Causes and manifestations of national romances’ crisis after World War II were also explained. The author showed the linkage of the cultural hegemony of the leftist intelligentsia with the considerable changes in historical consciousness and the emergence of victim-centered culture. The article describes the manifestations of the cult of heritage, the transformation of heritage in one of the principal political ideas of modernity and “the era of commemoration”

closely connected with this cult. The paper revealed ambiguous consequences of the rise in historical memory (“memorial boom”) with victims in its core: the release of “big narratives” from power was linked to the decline of future projects; the establishment of a freer and more direct connection with the past (the rise of multiculturalism and the flourishing of group memory) was used by right-wing populists and resulted in a variety of retro politics. The “competition of victims” became the focus of “battles of history”, and today this retro politics draws sharp criticism. The author established the existence of interrelations between the advent of the historical memory epoch and the era of neoliberalism and neoconservatism, on the other. The paper also considers the connection between historical memory and right-wing populism. The differences between the crisis of the future in Russia and other Eastern European countries related to the promotion of right-wing populism to the forefront of political life are revealed.

**Keywords:** memory boom, historical memory, populism, right-wing populism, national romance, retro politics, heritage, the memory of Holocaust.

**For citation:** Koposov, N. E. (2020), “Retropolitics, Or: Historical Memory, Democracy and Populism”, *Koinon*, vol. 1, no. 1–2, pp. 144–163 (in Russian). DOI: 10.15826/koinon.2020.01.1–2.007

### Мемориальные войны в современном мире

Характерной формой политических конфликтов нашего времени являются мемориальные войны, которые сегодня происходят повсеместно в мире между разными странами и внутри них. В Соединенных Штатах в последние годы обострились доходящие до кровавых столкновений споры вокруг памятников Конфедерации. Многие воспринимают эти памятники как символы расизма. В самом деле, в большинстве своем они были воздвигнуты либо на рубеже XX в., в период законов Джима Кроу, оформивших расовую сегрегацию в южных штатах, либо в послевоенные годы в контексте попыток остановить движение афроамериканцев за гражданские права. Сегодня в ряде южных штатов запрещено сносить эти памятники, защищенные законами о наследии и о военных мемориалах. Между Японией и Южной Кореей продолжают набравшие силу еще в 1990-х гг. конфликты вокруг японских военных борделей, в которых были заточены, в основном, кореянки, а между Японией и Китаем — вокруг Нанкинской резни 1937 г. и других японских военных преступлений. В самом полутоталитарном Китае проявления контр-памяти о репрессиях эпохи Культурной революции жестко пресекаются, но сама эта контр-память, безусловно, существует, тогда как руководство страны насаждает агрессивную ксенофобскую память о «национальном унижении» колониального периода. Десятки комиссий по установлению истины и примирению, созданные начиная с 1970-х гг. в Латинской Америке и Южной Африке, в огромном большинстве случаев не справились со своими задачами, и память о терроре военных

диктатур и апартеиде разделяет эти общества так же, как испанское общество разделяет память о Гражданской войне и режиме Франко.

Не иначе обстоят дела в других европейских странах. Во Франции, например, полыхают споры о колониальном наследии (и возвращении культурных ценностей бывшим колониям), которые в последние годы отодвинули на второй план проблему соучастия французов в Холокосте, находившуюся в центре общественных дебатов в 1980-х и 1990-х гг. Вопрос о немцах как жертвах Второй мировой войны, казалось бы, закрытый к 1990-м гг. в связи с превращением памяти о Холокосте в «светскую религию» объединенной Европы, с тех пор вновь стал предметом острых разногласий, в частности в результате подъема правого популизма. Но особенно сложная ситуация сложилась в Восточной Европе в широком смысле слова, включая сюда Россию и Турцию.

Восточная Европа сегодня — наиболее политически неблагополучный регион мира, и не случайно подъем правого популизма особенно заметно проявился именно здесь. Здесь же сложились неоавторитарные режимы — Путина в России, Эрдогана в Турции, Орбана в Венгрии. По тому же пути стремительно продвигается Польша под властью Ярослава Качиньского и его партии «Свобода и Справедливость». Все они проводят националистическую политику памяти, агрессивную по отношению к соседям, национальным меньшинствам и политическим оппонентам. Турция упорно отрицает, что массовое истребление армян в Османской империи было государственным преступлением, и находится в состоянии непрекращающейся мемориальной войны не только с Арменией и армянскими диаспорами по всему миру, но и с рядом стран Европы и Америки, которые признали эти события геноцидом. Путинский режим превратил память о Второй мировой войне в миф основания постсоветской России и навязывает населению биполярную картину мира, в рамках которой другие постсоветские страны и западные демократии, хотя бы в чем-то не согласные с Кремлем, объявляются врагами России и союзниками нацистов (несмотря на то что сам путинский режим имеет определенное сходство с фашистскими режимами и пользуется поддержкой крайне правых внутри страны и в мире)<sup>1</sup>. Подобная демагогия широко используется Кремлем, например, для нагнетания ненависти к украинцам, что подготовило аннексию Крыма и вторжение в Донбасс, а теперь используется для оправдания этих актов. Вообще украинская история последних пятнадцати лет, начиная с Оранжевой революции 2004–2005 гг., представляет собой непрерывную мемориальную войну между разными политическими силами внутри страны, а равно между Киевом, Москвой и Варшавой. Украину и Польшу разделяет, в частности, память о печально знаменитой Волынской резне 1943 г., в которой погибло 70 тыс. поляков, и о других этнических чистках военного и послевоенного

<sup>1</sup> См.: [Motyl 2007; Snyder 2018]. Сп.: [Laruelle 2018; Умланд 2018].

периодов. Режим Виктора Орбана в Венгрии до такой степени опирается на националистический нарратив, что даже включил его в Конституцию 2010 г., которая местами читается как плохой учебник истории для младших классов (особенно в редакции 2013 г.). В Польше воспоминания об эпохе величия в XVI–XVII вв. и о борьбе за свободу с конца XVIII до конца XX в. порождают агрессивную антизападную (в том числе антигерманскую) и одновременно антирусскую риторику и политику.

При этом сами эти страны объявляются жертвами истории и агрессивной политики соседей, а их собственные неблагоприятные деяния затушевываются или прямо отрицаются. В Турции признание армянского геноцида года падает под статью 301 Уголовного кодекса (введена в 2005 г.), предусматривающую тюремное заключение за оскорбление турецкого государства. В России статья 354.1 Уголовного кодекса (введена в 2014 г.) запрещает распространять «заведомо ложную информацию о политике СССР в годы Второй мировой войны». Практика применения этого закона показывает, что теперь небезопасно, например, говорить, что ответственность за начало войны отчасти падает на Сталина, разделившего с Гитлером Восточную Европу в 1939 г. (несмотря на то что в 1989 г. Съезд народных депутатов СССР официально осудил этот раздел). В Польше в 2006–2008 гг. и в феврале–июне 2018 г. действовали законы, запрещающие обвинять польский народ в соучастии в Холокосте, хотя поляки запятнали себя многочисленными еврейскими погромами (по некоторым данным, до 200 тысяч, т. е. 7 % из числа погибших в Холокосте польских евреев, были убиты местным населением вне гетто и концлагерей). В 2018 г. такой закон был отменен под давлением международного сообщества, но польское законодательство по-прежнему предусматривает высокие штрафы за подобные высказывания. На Украине в 2015 г. были приняты законы, вводящие уголовное наказание за коммунистическую пропаганду, включая распространение произведений Ленина (недавно на основании этого закона был вынесен первый приговор), равно как и запрещающие критические высказывания в адрес «борцов за освобождение Украины», многие из которых принимали участие в Холокосте и Волынской резне. Правда, этот закон не предусматривает уголовного наказания за его нарушение<sup>2</sup>.

### **История — национальный роман**

Таковы печальные реалии сегодняшнего дня. Между тем подъем исторической памяти начинался в 70–80-х гг. прошлого века в совершенно другой атмосфере и являлся важнейшим аспектом демократической политической

---

<sup>2</sup> Я подробно рассматриваю эти (и другие мемориальные) законы в следующих работах: [Koropov 2017; Копосов 2011].

культуры на Западе. Эпоха памяти пришла на смену эпохе исторически ориентированных идеологий, иначе известных под именем больших нарративов, начавшейся в эпоху Просвещения.

Еще в 1950–1960-х гг. коллективная память практически не привлекала внимания историков, социологов или политологов. Память рассматривалась тогда как сугубо индивидуальный феномен и оставалась предметом исследований психологов и отчасти философов. Тем не менее история играла важную роль в политических и идеологических битвах эпохи Холодной войны — история, но не память. В этот период достигло апогея противостояние «двух систем» и соответствующих им «больших нарративов», один из которых предсказывал коммунистическое, а другой — либерально-демократическое будущее. В этой системе представлений об истории, несмотря на разногласия относительно конкретного проекта будущего, будущее как категория играло главную роль. Именно в его свете политики и ученые истолковывали настоящее и прошлое. При этом большие нарративы в нормальном случае воплощались в форме национальной истории — или, как назвал ее Пьер Нора, в истории-национальном романе.

Национальные романы начали складываться еще в эпоху абсолютных монархий (а истоки их можно обнаружить в Средних веках), но только в XIX и в первой половине XX в. они приобрели особое значение в связи с формированием национальных государств и борьбой между ними [Berger, Conrad 2015]. Они были важнейшим аспектом картины мира, в рамках которой нации должны были выглядеть основополагающими общностями, с каковыми индивид должен был идентифицировать себя. Конечно, социальные классы до известной степени представляли собой альтернативу нациям. Маркс, как известно, утверждал, что у пролетариев нет отечества, а Ленин и его советские последователи позднее клеймили националистов как агентов буржуазии. В самом деле, национальные романы легитимировали существующий общественный и политический строй соответствующих стран, и национализация масс была важным средством сплочения национальных коллективов в эпоху, когда происходила стремительная демократизация общества и вовлечение этих самых масс в политику [Mosse 1975]. Национальная солидарность и нетерпимость по отношению к другим народам, с одной стороны, и классовая солидарность вкупе с ненавистью по отношению к другим социальным группам — с другой были, конечно, разными моделями идентичности. Однако именно в национальных рамках складывались тогда гражданское общество и его институты, а сама идея нации была неразрывно связана с идеей равенства ее членов. И во многих случаях, особенно в Восточной Европе с ее империями (Турецкой, Австрийской, Российской, а позднее Советской), задачи национально-освободительной борьбы и демократизации общества тесно переплетались. Так что отношения между национализмом и демократией были многоплановыми.

Национальные романы рассказывали о том, как в соответствующей стране сложился, складывается или должен сложиться оптимальный общественный строй — в борьбе национального коллектива за свою свободу против внешних и внутренних врагов. При этом представления о том, кто входит в национальный коллектив, как он соотносится с социальными классами, каким должен быть оптимальный общественный строй и насколько данная общность к нему уже приблизилась, могли быть весьма различными.

Мировые войны, особенно Вторая, и экономический рост существенно изменили культурный и политический ландшафт и привели к революции в исторических представлениях — в частности, к кризису национальных романов. Национализм был глубоко скомпрометирован в итоге фашистской эпопеи, и до его возрождения в конце XX в. должно было пройти несколько десятилетий. Правда, 15–20 первых послевоенных лет отчасти еще напоминали эпоху острых классовых и национальных конфликтов 1920–1930-х гг., и правящие круги западных стран пытались реанимировать в новых условиях национальные нарративы с присущими им идеями национального сплочения и братства по оружию [Lagrou 2000]. Однако опыт мировых войн и преступлений против человечности плохо укладывался в эти мифы [Winter 2014, p. 229], и постепенно, в основном уже в 1960–1970-х гг., они стали уступать место космополитической памяти жертв. К концу 1960-х — началу 1970-х гг. историки получили полное право утверждать, что политизированной националистической истории пришел конец [Kennedy 1973; Plumb 1969]. Однако для того, чтобы такая перемена смогла состояться, потребовались глубокие изменения в социальных условиях и расцвет либеральной демократии на Западе. Национализм (тогда казалось, что навсегда, но оказалось, что на время) сошел с исторической арены прежде всего потому, что эпоха классов и классовой борьбы, порождением которой он был, тоже ушла в прошлое.

### **Кризис национальных романов**

XIX и первая половина XX в. были периодом острых социальных конфликтов, и далеко не случайно для описания этих конфликтов (и руководства ими) была придумана теория классов и классовой борьбы. Здесь нет необходимости повторять известные вещи относительно гигантских запасов социальной ненависти, которые накопились в обществе классического капитализма в результате взаимоналожения существенно разнородных факторов — усиления и без того крайних форм социального неравенства; распада сословного общества и создания условий для участия масс в политике; и распространения гуманистических представлений о человеке и его праве на свободную и обеспеченную жизнь, в свете которых сохраняющееся угнетение выглядело особенно нетерпимым. Бурный экономический рост, решающий этап которого пришелся



на 1940–1960-е гг., впервые в истории привел к возникновению в развитых странах такого общества, в котором многократно повысившийся уровень жизни был плохо совместим с острой социальной ненавистью и готовностью прибегать к насилию для изменения или сохранения существующего строя. Эта форма общества получила название государства всеобщего благоденствия, причем — ирония истории! — важнейшим условием ее возникновения было существование Советского Союза, международный престиж которого достиг высшей точки в результате победы над фашизмом. Сочетание возросшего благополучия и угрозы революций породило социально-либеральный консенсус, т. е. «компромисс между трудом и капиталом», основанный на перераспределении национального дохода в пользу среднего и отчасти низшего классов и демократизации общественной жизни при сохранении основ капиталистического строя [Harvey 2005, p. 10]. Никогда прежде доля совокупного национального продукта, контролируемая высшими классами, не снижалась до уровня, на котором она оставалась на протяжении 1950–1970-х гг. (например, наиболее богатые американцы, составлявшие 1 % населения, получали 25 % национального дохода накануне Великой депрессии, 15 % в период рузвельтовского Нового курса, ставшего важным шагом к достижению социального компромисса в США, и 10 % в первые послевоенные десятилетия. В настоящее время этот показатель вновь приблизился к 25 %) [Piketty 2014]. Итогом стал расцвет либеральной демократии на Западе и ее превращение в наиболее привлекательную модель общественного устройства для большинства других стран, в том числе и социалистических, где в результате экономического роста также сложилось общество, отвергавшее стереотипы классовой борьбы и усваивающее идеалы индивидуальной автономии.

На этом фоне на Западе в 1960–1970-х гг. устанавливается культурная гегемония левой интеллигенции. Она проявилась, в частности, в существенных изменениях в историческом сознании и возникновении культуры жертв, т. е. в переосмыслении статуса жертв насилия — от геноцидов до различных форм неравенства и бытового насилия — с вызывающего презрение и подлежащего сокрытию на вызывающий симпатию и позволяющий претендовать на уважение и поддержку общества [Novick 2000, p. 6–7]. В этих условиях национальные романы стремительно превращаются в криминальные хроники. Героические национальные мифы уступают место критическим оценкам национального — и, шире, западного — исторического опыта как состоявшего, в основном, из несправедливостей, угнетения и преступлений против человечности — и, конечно же, борьбы против них. Вместе с той формой исторического сознания, в которой история была рассказом о национальном государстве и его элитах, сходит со сцены классический национализм. В условиях социально-либерального консенсуса социальные элиты перестали нуждаться в нем для контроля над массами населения.



Важнейшим фактором этой эволюции был переход от политической, событийной истории, которая была основой традиционных национальных романов, к социальной и культурной истории, главным персонажем которой были уже не национальные элиты, а народные массы. Этот переход был отчасти подготовлен марксизмом, но его решающий этап пришелся на 1930–1960-е гг., когда французская историческая школа «Анналов» создала новую модель всеобщей истории, главным содержанием которой стала эволюция социальных групп, а с 1970-х гг. — культура этих групп, в первую очередь — народная культура. Эта демократическая революция в историографии вместе с новой культурой жертв была важнейшей предпосылкой подъема исторической памяти (или «мемориального бума»).

### Мемориальный бум

Точно датировать подъем исторической памяти трудно, поскольку в разных странах он начинался по-разному и отдельные его проявления вписывались в более традиционные формы отношений современного общества с прошлым. Раньше всего, еще в 1950-х гг., явления, схожие с теми, которые впоследствии стали составляющими мемориального бума, фиксируются в США и в странах социалистического лагеря, но в разных формах и по разным причинам. В США, только что совершивших грандиозный рывок в будущее, в условиях некоторого снижения всё еще высоких темпов экономического роста (с 8–10 % в годы войны до 4–5 % в 1950–1960-х гг.) появились признаки ностальгии, проявившиеся в распространении устной истории и движения исторической реконструкции, равно как и в моде на антиквариат — типичный побочный эффект модернизации [Kammen 1991]. В Советском Союзе и его странах-сателлитах развенчание культа личности Сталина и идеологические послабления, в том числе и в национальной политике, привели к подъему памяти жертв политических репрессий, который, однако, сочетался с оптимистическими ожиданиями относительно будущего. Более того, экономический рост, повышение уровня жизни и достижения советской науки и техники делали будущее главным источником политической легитимности. В 1960-х гг. ностальгия, проявившаяся в России в «деревенской прозе» и культе Белого движения и повсеместно — в возрождении национализма, тоже далеко еще не «перевешивала» оптимизма относительно будущего, которое рисовалось тогда восточноевропейцам не обязательно коммунистическим, но во всяком случае благополучным. Даже получивший распространение в СССР, начиная с середины 1960-х гг., культ Второй мировой войны, с помощью которого брежневское руководство старалось отчасти реабилитировать Сталина и уравновесить хрущевские обещания скорого пришествия коммунизма, был типологически ближе к послевоенным героическим мифам, которые тогда отмирали на Западе,

чем к мемориальному буму конца XX в., хотя в нем уже просматривался перенос акцента с легитимации советского строя через проект будущего на его легитимацию через деяния прошлого.

На Западе подъем памяти вступил в свою решающую стадию в 1970-х гг. Его двумя основными составляющими были культ наследия и память о Холокосте. Символической вехой на пути превращения наследия в одну из главных политических идей современности стало одновременное провозглашение 1980 г. Годом наследия во Франции, Великобритании и Бразилии. Культ наследия проявился в массовом создании музеев, распространении культурного туризма и связанной с ним «индустрии наследия», а также в повальном увлечении семейной историей. Тогда же начинается и «эра коммемораций» — небывало широкие празднования памятных дат, будь то двухсотлетие Французской революции или тысячелетие христианства в странах Северной и Восточной Европы [Нора 1999b]. С начала 1980-х гг. стремительно возрастает академический интерес к исторической памяти, которая быстро превращается в одно из самых модных понятий в словаре гуманитариев. Становится трюизмом утверждение, что коллективная память с ее многочисленными «агентами» и «антрепренерами» — от общественных организаций, стремящихся увековечить те или иные события, и политиков, использующих ее для мобилизации общественной поддержки, до журналистов, писателей, кинематографистов и историков-любителей, с увлечением взявшихся возделывать эту благодатную почву, — заменила профессиональную историографию и историческое образование в качестве главной формы общения современного человека с прошлым [Klein 2000].

Что касается памяти о Холокосте, то она отнюдь не была в центре общественного внимания в первый послевоенный период. С одной стороны, героические национальные мифы (даже в Израиле) фокусировались не столько на жертвах, сколько на победителях. С другой — интеграция еврейского населения в национальные коллективы как в США, так и в Западной Европе тогда еще не была полностью завершена, и хотя в еврейских семьях память о Холокосте бережно сохранялась, еврейские организации считали опасным открыто культивировать ее [Novick 2000]. Однако уже в 1960-х гг. в условиях упадка национальных мифов она стала привлекать гораздо большее внимание, чему способствовали суд над Эйхманом в Иерусалиме (1961–1962), Франкфуртский процесс над охранниками Аушвица (1963–1965) и Шестидневная война (1967), показавшая (несмотря на убедительную победу), что безопасность Израиля далеко не гарантирована.

Подъем демократических движений (от движения за гражданские права в США до Пражской весны и студенческих волнений 1968 г.), «полевание» политического истеблишмента на Западе, его постепенная деидеологизация в СССР и связанная с этим разрядка международной напряженности еще

вполне умещались в рамках ориентированной в будущее политики. Однако одновременное поражение левых на Западе и реформаторов социализма в Восточной Европе повлекло за собой спад революционных настроений и отказ от экономических реформ в СССР, а повсеместное замедление экономического роста после «бензинового кризиса» 1973 г. ознаменовало наступление «эпохи сокращающихся ожиданий». Война Судного дня 1973 г. в еще большей степени изменила самоощущение Израиля, чем Шестидневная война, и способствовала превращению трагической памяти о Шoa в основу израильской идентичности, а публикация в Париже «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына (по-русски в конце 1973-го и по-французски в начале 1974 г.) нанесла тяжелейший удар по просоветским симпатиям левой интеллигенции, тогда еще сохранявшимся несмотря на разоблачение сталинизма и поражение майской революции 1968 г. В итоге совпадения всех этих обстоятельств эпоху устремленных в будущее идеологий сменила эпоха исторической памяти, символом чего стало выдвижение Холокоста в центр исторического сознания на Западе.

Показ американского мини-сериала «Холокост» в 1978-м (в США) и 1979 г. (в Европе) сделал знание о трагической судьбе шести миллионов европейских евреев в период нацизма всеобщим достоянием. В 1986–1987 гг. в так называемом «споре историков» в ФРГ сторонники идеи об «относительности» Холокоста, который, по их мнению, был лишь одним из многих преступлений против человечности, совершенных в XX в., потерпели сокрушительное поражение. Этот спор, имевший самый широкий международный резонанс, привел к превращению тезиса об уникальности Холокоста в почти общепринятую догму. В последующие годы память о Холокосте была широко институционализирована: повсеместно на Западе были созданы учебные программы, мемориальные музеи и комплексы (наиболее известным из которых стал Национальный музей Холокоста в Вашингтоне, открытый в 1993 г.), а во многих странах Европейского союза (как и в Израиле) были приняты мемориальные законы, запрещающие под страхом уголовного наказания отрицать факт Холокоста и позволяющие бороться с «ревизионистами», деятельность которых приобрела в 1970–1980-х гг. широкий размах в связи с возрождением национализма. Классическим примером является принятый в 1990 г. во Франции закон Гэссо, названный так по имени его автора — известного коммунистического депутата. В этом законодательстве (законы, криминализирующие те или иные высказывания о прошлом, имеются в 30 странах) нашло свое наивысшее воплощение превращение исторической памяти в важную политическую арену.

### **Историческая память, кризис демократии и ретрополитика**

Превращение памяти о Холокосте в один из центральных элементов официальных концепций истории в ведущих западных странах было, однако,

явлением неоднозначным. С одной стороны — и это, конечно, главное, — в ней воплотилось гуманистическое сострадание жертвам насилия, ставшее основой демократической исторической культуры (или «космополитической памяти») на Западе [Levy, Sznaider 2006]. Благодаря этому состоялись разрыв с националистической исторической культурой предшествующего периода и решительное осуждение расизма (борьба против расизма была важным фактором становления памяти о Холокосте, и законы об отрицании Холокоста являются частью антирасистского законодательства).

Но есть и другая сторона, даже если не касаться весьма спорного вопроса, является ли запрет на какие бы то ни было суждения о прошлом допустимым в демократическом обществе. Дело в том, что подъем исторической памяти в целом, в том числе и памяти о Холокосте, был связан с упадком не только национальных романов, но и проектов будущего, с которыми эти «романы» были, как мы видели, тесно взаимосвязаны. Конечно, это не вина тех, кто — порой с огромным трудом и риском — продвигал память о погибших. И это ни в коем случае не умаляет важности понятия «долг памяти». Но остается фактом, что осознание этого долга не просто совпало по времени, но и было сопряжено с «кризисом будущего», утратой исторической перспективы и упадком прогрессистской политики [Нора 1999а; Judt 1992; Maier 1993; Lowenthal 1996]. Более того, превращение памяти о Холокосте в основу исторического сознания свидетельствует о фиксации этого сознания на конкретных исторических событиях, которые выступают сакральными символами той или иной исторической общности.

Это резко контрастирует с формой исторического сознания, воплощенной в политических идеологиях, основанных на образах будущего. Конечно, в этих идеологиях, особенно в коммунизме, имелся сильный компонент утопического мышления, но они опирались и на вполне рациональные (пусть иногда ошибочные) исторические теории. За утопические проекты человечество заплатило немалую цену в XX в., и нет ничего удивительного, что подъем памяти первоначально приветствовался как высвобождение человека из-под власти больших нарративов и установление его более свободной и непосредственной связи с прошлым. Это проявилось, например, в связи с подъемом мультикультурализма, когда различные национальные, этнические, религиозные, гендерные и прочие группы осознали возможность обрести (а порой избрести) собственную память и идентичность. Не случайно понятие групповой идентичности получает широкое распространение только с наступлением эры памяти в 1970–1980-х гг. Но вскоре стало ясно, что раскрепощающая роль исторической памяти не является ее единственной ролью в современном обществе.

Критические ноты звучали в исследованиях памяти уже в 1980–1990-х гг. у таких проникательных наблюдателей, как Пьер Нора, Дэвид Лоуэнталь, Тони Джадт и Чарльз Майер [Нора 1999а; Lowenthal 1996; Judt 1992; Maier 1993].

Но ее теневая сторона стала особенно заметной в 2000-х гг. в связи с нарастающим вовлечением в политику памяти — или ретрополитику — новых, в том числе и крайне правых, «актеров» и с ее превращением в распространенную технику электоральных манипуляций, нагнетания политических страстей и международной напряженности.

Термин «политика памяти» в его современном значении получил распространение в Германии в годы «спора историков», когда наиболее проницательные политики (и прежде всего — канцлер Гельмут Коля, историк по образованию) оценили значение проблем памяти и идентичности [Schmid 2009, s. 65]. Изначально память о Холокосте, с которой, как помнит читатель, был в значительной степени связан подъем памяти в целом, была оружием преимущественно левых политических сил, включая коммунистов. Действительно, рассказ о преступлениях фашизма и отказ от национальной солидарности в пользу солидарности социальной отвечали интересам коммунистических режимов, хотя память об их собственных преступлениях, в том числе и связанных с национальной политикой, работала против них. Но в целом для коммунистов политика памяти помещалась в контекст марксистского исторического нарратива и была второстепенной.

Напротив, правые поначалу крайне сдержанно относились к памяти меньшинств и других подчиненных социальных групп. В Германии, например, каждый шаг на пути создания памяти о Холокосте вплоть до 1990-х гг. встречал сопротивление правых, стремившихся — в том числе и в ходе упомянутого «спора историков» — создать для своей страны более позитивный образ прошлого. Только в связи с падением коммунизма и воссоединением Германии правительство Коля пересмотрело свое отношение к этому вопросу.

Именно в этот момент складывается новая форма социального компромисса между правыми и левыми на Западе, пришедшая на смену социально-либеральному консенсусу 1950–1970-х гг. Приход к власти неолиберальных и неоконсервативных правительств Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана и Гельмута Коля (соответственно в 1979, 1981 и 1982 гг.) стал поворотным пунктом «в долгосрочном процессе ограничения неравенства» на Западе [Rosanvallon 2011, p. 14]. С тех пор неравенство в развитых странах только возрастает, а средний класс, основа демократического устройства, находится в упадке. Падение коммунизма и исчезновение угрозы социалистических революций, которая была важнейшим фактором социально-либерального консенсуса, были необходимыми условиями этой трансформации. Повсеместный сдвиг политического спектра вправо, когда даже левые правительства нередко проводят политику, основанную на неолиберальных рецептах, сопровождался включением ряда традиционно левых идей в новый политический консенсус. В частности, «левая» память о Холокосте стала официальной памятью большинства стран Запада, о чем свидетельствует, в частности, вышеупомянутое

распространение мемориального законодательства. Критика этой официальной памяти исходит сегодня уже не столько от консерваторов, сколько от левых и правых популистов и из мусульманского мира, причем она отчасти воспроизводит традиционное отрицание Холокоста, а отчасти исходит из недопустимости установления иерархии жертв разных геноцидов. Иными словами, идея об уникальности Холокоста, которая в 1970–1980-х гг. была основой демократической политики памяти, теперь всё чаще подвергается критике как проявление «белого супрематизма». Об этом свидетельствуют, например, дебаты во Франции о распространении закона Гэссо на отрицание геноцидов вообще (в том числе работоторговли как геноцида). Такие законы, принятые парламентом в 2011 и 2016 гг., были полностью (закон 2011 г.) или частично (закон 2016 г.) отменены конституционным советом (в 2012 и 2017 гг.). Именно «соревнование жертв», которое начиная с 1980-х (в США) и особенно с 2000-х (в Европе) годов стало основным содержанием «битв за историю», вызывает сегодня самую острую критику ретрополитики как исторического явления. Тем не менее мультимеморизм — т. е. борьба памятей в мультикультурном обществе — стал важной чертой современности.

Существует взаимосвязь между наступлением эпохи исторической памяти и соревнования жертв, с одной стороны, и эпохой неолиберализма и неоконсерватизма — с другой. Действительно, обе эти эпохи начались практически одновременно, вскоре после начала экономической стагнации 1970-х гг. Их взаимосвязь определяется особенностью восприятия исторического времени в современную эпоху. С одной стороны, в обществе позднего модерна, благодаря ускорению социальных процессов, восприятие времени становится не линейным, каким оно было в эпоху исторически ориентированных идеологий, а, скорее, «ситуативным» и сфокусированным на отдельных событиях [Rosa 2013, p. 173]. С другой стороны, согласно Люку Болтански и Лорану Тевено (если несколько упростить их теоретические построения), «экономическая идеология», которую взял на вооружение неолиберализм, не нуждается в понятии истории, поскольку оперирует вневременными понятиями экономической теории [Болтански, Тевено 2013]. Более того, добавим мы, борьба социальных групп за свои интересы — т. е. главное содержание социальной истории и «больших нарративов» — рассматривается неолибералами как нарушение нормального функционирования экономики «коалициями за перераспределение» национального дохода [Olson 1982, p. 44, 47]. В рамках подобного мировоззрения глобальной истории как процессу освобождения человека просто не остается места. Зато в ней достаточно места для исторической памяти. Прошлое присутствует в ней как набор образов людей и событий, причем в особенности событий травматических, с помощью которых различные сообщества памяти определяют свою идентичность и требуют компенсации. С этими требованиями, которые неолибералы обычно стараются дискредитировать как



соревнование жертв, они, однако, вполне могут иметь дело в рамках существующего строя, который фрагментарная память, в отличие от некоторых больших нарративов, едва ли может всерьез поставить под сомнение. Именно это, на мой взгляд, определяет сопряженность между неолиберализмом, неоконсерватизмом и правым популизмом, столь характерную для нашего времени.

### **Историческая память и правый популизм в России и Восточной Европе**

Эти тенденции, заметные повсеместно в мире, особенно ярко проявились в Восточной Европе. Как уже отмечалось, именно здесь возникли основные нео-авторитарные режимы, и именно здесь особенно сильны правые популисты, которые пришли к власти в России, Турции, Венгрии и Польше. В некоторых случаях (особенно в России и Венгрии) они одновременно являются неолибералами.

Можно ли считать путинизм проявлением неолиберализма? На мой взгляд, можно, поскольку неолиберализм и либерализм — разные вещи, несмотря на ссылки неолибералов на наследие классического либерализма. Для понимания неолиберализма важны не столько эти ссылки, сколько то, что они используются для существенного перераспределения национального дохода в интересах правящих кругов в условиях кризиса государства всеобщего благоденствия. В этом смысле путинизм, безусловно, примыкает к неолиберализму, не говоря уже о том, что, несмотря на сращивание высшей бюрократии и большого бизнеса, государственное регулирование экономики в России в значительной мере следует неолиберальным рецептам. Путинизм мне представляется классическим случаем союза неолиберализма и правого популизма.

Подъем правого популизма как новой формы национализма начался еще в 1970-х гг. в Западной Европе, и законы об отрицании Холокоста получили столь широкое распространение не в последнюю очередь как реакция на связанный с ним всплеск ревизионизма как новой формы антисемитизма. Но только в 2000-х гг. популизм стал важной социальной силой, оказывающей, в частности, существенное влияние на политику памяти. Именно с выдвиганием правого популизма на авансцену политической жизни связаны упомянутые в начале статьи мемориальные войны в Восточной Европе.

В этом регионе подъем памяти начался, как уже отмечалось, в своеобразных формах и был связан с демократической памятью о преступлениях коммунизма, отчасти параллельной памяти о Холокосте. В обоих случаях речь шла о жертвах тоталитарных режимов. Но была и существенная разница: если память о Холокосте космополитична, то память о жертвах коммунистических режимов нередко была элементом национального сознания народов в СССР и его странах-сателлитах, народов, пострадавших от репрессий



и национального угнетения. Когда, например, Германия, Австрия, Франция, Нидерланды или Бельгия криминализируют отрицание Холокоста, то они запрещают отрицать преступления не кого-то другого (например, Гитлера и его клики, к которым современные немцы и тем более французы не имеют никакого отношения), а своего собственного народа, который в той или иной мере соучаствовал в Холокосте. Именно статус Холокоста как преступления, в котором — в разной, конечно, степени — повинны все или почти все народы Европы, придает памяти о нем космополитический и объединяющий характер. Напротив, преступления коммунизма в нормальном случае воспринимаются в Восточной Европе (и даже в России) как совершенные когда-то давно и кем-то другим, несмотря на то что повсеместно (и прежде всего, конечно, в России) немалый (какой именно — можно спорить) процент населения в той или иной мере поддерживал коммунистические режимы, а какой-то процент соучаствовал в их преступлениях. Кроме того, особенно в годы войны, немалый процент населения в странах Восточной Европы, включая СССР, соучаствовал в Холокосте и этнических чистках.

В советский период память об этих преступлениях, равно как и о коммунистическом терроре, была под запретом, и единственное, о чем предписывалось помнить, были преступления нацизма. Но, конечно, неофициальная память о них не исчезла, и именно она в значительной мере подготовила коллапс коммунистических режимов. Как только с началом горбачевской перестройки запрет на контр-памяти был ослаблен, они мощно вырвались из-под спуда официальной идеологии и способствовали быстрому росту движений за национальное освобождение и сопутствующего им национализма.

В 1980-х и отчасти в 1990-х гг. ситуация с исторической памятью в Восточной Европе характеризовалась, в частности, тем, что кризис будущего здесь происходил в форме распада коммунистического проекта и никак не распространялся на либеральный нарратив. Однако с началом трудностей — неизбежных при переходе к рыночной экономике, но неожиданных для народов региона — полномасштабный кризис будущего пришел в Восточную Европу вместе с ностальгией, критикой западного общества и интересом к собственным «корням». В этом специфическом местном контексте кризиса либеральной демократии получили распространение правопопулистские идеи, особенно усилившиеся после того, как перспектива вступления в Евросоюз перестала (для большинства стран региона — в 2004 г.) служить сдерживающим фактором. Именно в это время разгораются мемориальные войны внутри восточноевропейских стран и между ними, тогда как в 1990-х гг. конфликты вокруг интерпретации прошлого проявлялись в более мягких формах. В особенности возродившийся в путинской России культ Второй мировой войны, ярким проявлением которого стало празднование шестидесятилетия победы над фашизмом в 2005 г., способствовал обострению мемориальных конфликтов.

Характерным проявлением восточноевропейской исторической памяти являются мемориальные законы. В некоторых странах (например, в Румынии, Болгарии, Словакии и Словении) были приняты законы западноевропейского образца, причем обычно под давлением Совета Европы, стремившегося приблизить историческую политику новых членов к западноевропейским стандартам. Однако в других странах — Польше, Чехии, Венгрии, Литве и Латвии — были приняты совсем другие законы, которые запрещают отрицание преступлений коммунизма и нацизма, но отнюдь не преступлений самих этих народов. Наконец, как уже было сказано, в странах, где правые популисты пришли к власти, были приняты законы, прямо запрещающие обвинять соответствующие народы в преступлениях против человечности. Эти законы и соответствующие им национальные нарративы представляют собой прямую противоположность нормам демократической культуры памяти. Именно с подъемом национал-популизма ретрополитика приняла крайне манипулятивный и антидемократический характер.

### Список литературы

- Болтански, Тевено 2013 — *Болтански Л., Тевено Л.* Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / пер. с фр. О. В. Ковенева. М. : Новое литературное обозрение, 2013. 572 с.
- Копосов 2011 — *Копосов Н. Е.* Память строгого режима. История и политика в России. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.
- Нора 1999a — *Нора П.* Между памятью и историей // Франция-память / П. Нора и др. ; пер. с фр. Д. Хапаевой. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17–50.
- Нора 1999b — *Нора П.* Эра коммемораций // Франция-память / П. Нора и др. ; пер. с фр. Д. Хапаевой. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 95–148.
- Умланд 2018 — *Умланд А.* Является ли путинский режим фашистским? [Электронный ресурс] // Гефтер. 2018. 7 мая. URL: <http://gefter.ru/archive/24860> (дата обращения: 04.03.2020).
- Berger, Conrad 2015 — *Berger S., Conrad C.* The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe. Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan, 2015. xiii + 570 p.
- Harvey 2005 — *Harvey D.* A Brief History of Neoliberalism. Oxford, New York : Oxford University Press, 2005. 256 p.
- Judt 1992 — *Judt T.* The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe // *Daedalus*. 1992. Vol. 121. No. 4. P. 83–118.
- Kammen 1991 — *Kammen M.* Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture. New York : Alfred A. Knopf, 1991. 877 p.
- Kennedy 1973 — *Kennedy P.* The Decline of Nationalistic History in the West, 1900–1970 // *Journal of Contemporary History*. 1973. Vol. 8. No. 1. P. 77–100.
- Klein 2000 — *Klein K. L.* On the Emergence of *Memory* in Historical Discourse // *Representations*. 2000. Vol. 69. No. 1. P. 127–150.
- Koposov 2017 — *Koposov N.* Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 321 p.

- Lagrou 2000 — *Lagrou P.* The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945–1965. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. 327 p.
- Laruelle 2018 — *Laruelle M.* Is Russia Really ‘Fascist’? A Comment on Timothy Snyder [Electronic resource] // PONARS Eurasia. 2018. September. URL: <http://www.ponarseurasia.org/memo/russia-really-fascist-reply-timothy-snyder> (access date: 04.03.2020).
- Levy, Sznajder 2006 — *Levy D., Sznajder N.* The Holocaust and Memory in the Global Age. Philadelphia : Temple University Press, 2006. 240 p.
- Lowenthal 1998 — *Lowenthal D.* The Heritage Crusade and the Spoils of History. New York : The Free Press, 1996. 338 p.
- Maier 1993 — *Maier Ch. C.* A Surfeit of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial // History and Memory. 1993. Vol. 5. No. 2. P. 136–152.
- Mosse 1975 — *Mosse G. L.* The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany, from the Napoleonic Wars Through the Third Reich. New York : Howard Fertig, 1975. xiv + 252 p.
- Motyl 2007 — *Motyl A. J.* Is Putin’s Russia Fascist? [Electronic resource] // The National Interest. 2007. December 3. URL: <https://nationalinterest.org/commentary/inside-track-is-putins-russia-fascist-1888> (access date: 04.03.2020).
- Novick 2000 — *Novick P.* The Holocaust in American Life. Boston : Houghton Mifflin, 2000. 373 p.
- Olson 1982 — *Olson M.* The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven ; London : Yale University Press, 1982. 276 p.
- Piketty 2014 — *Piketty Th.* Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass. ; London : The Belknap Press, 2014. viii + 685 p.
- Plumb 1969 — *Plumb J. H.* The Death of the Past. London : Macmillan, 1969. 153 p.
- Rosa 2013 — *Rosa H.* Social Acceleration: A New Theory of Modernity. New York : Columbia University Press, 2013. 512 p.
- Rosanvallon 2011 — *Rosanvallon P.* La société des égaux. Paris : Editions du Seuil, 2011. 432 p.
- Schmid 2009 — *Schmid H.* Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept: Zur Historisierung der Kategorie “Geschichtspolitik” // Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis: Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis / Hrsg. H. Schmid. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. S. 53–75.
- Snyder 2018 — *Snyder T.* The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America. New York : Tim Duggan Books, 2018. 368 p.
- Winter 2014 — *Winter J. M.* Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History [1995]. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. x + 310 p.

## References

- Berger, S. and Conrad, C. (2015), *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York, xiii + 570 p.
- Boltanski, L. and Thévenot, L. (2013), *De la justification: les économies de la grandeur*, translated by Koveneva, O. V., Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, 572 p. (in Russian).
- Harvey, D. (2005), *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, New York, 256 p.
- Judt, T. (1992), “The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe”, *Daedalus*, vol. 121, no. 4, pp. 83–118.
- Kammen, M. (1991), *Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture*, Alfred A. Knopf, New York, 877 p.
- Kennedy, P. (1973), “The Decline of Nationalistic History in the West, 1900–1970”, *Journal of Contemporary History*, vol. 8, no. 1, pp. 77–100.
- Klein, K. L. (2000), “On the Emergence of Memory in Historical Discourse”, *Representations*, vol. 69, no. 1, pp. 127–150.

- Koposov, N. (2017), *Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia*, Cambridge University Press, Cambridge, 321 p.
- Koposov, N. E. (2011), *Pamyat' strogogo rezhima. Istoriya i politika v Rossii* [The Memory of High Security Regime. History and Politics in Russia], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, 320 p. (in Russian).
- Lagrou, P. (2000), *The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945–1965*, Cambridge University Press, Cambridge, 327 p.
- Laruelle, M. (2018), "Is Russia Really 'Fascist'? A Comment on Timothy Snyder", *PONARS Eurasia*, September, available at: <http://www.ponarseurasia.org/memo/russia-really-fascist-reply-timothy-snyder> (accessed 04 March 2020).
- Levy, D. and Sznajder, N. (2006), *The Holocaust and Memory in the Global Age*, Temple University Press, Philadelphia, 240 p.
- Lowenthal, D. (1996), *The Heritage Crusade and the Spoils of History*, The Free Press, New York, 338 p.
- Maier, Ch. C. (1993), "A Surfeit of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial", *History and Memory*, vol. 5, no. 2, pp. 136–152.
- Mosse, G. L. (1975), *The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany, from the Napoleonic Wars Through the Third Reich*, Howard Fertig, New York, xiv + 252 p.
- Motyl, A. J. (2007), "Is Putin's Russia Fascist?", *The National Interest*, 3 December, available at: <https://nationalinterest.org/commentary/inside-track-is-putins-russia-fascist-1888> (accessed 04 March 2020).
- Nora, P. (1999a), "Entre Mémoire et Histoire", in Nora, P., Ozouf, M., Puimège de, G. et Winock, M., *Frantsiya-pamyat'* [France-Memory], translated by Khapaeva, D., Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, Saint Petersburg, pp. 17–50 (in Russian).
- Nora, P. (1999b), "L'ère de la commémoration", in Nora, P., Ozouf, M., Puimège de, G. et Winock, M., *Frantsiya-pamyat'* [France-Memory], translated by Khapaeva, D., Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, Saint Petersburg, pp. 95–148 (in Russian).
- Novick, P. (2000), *The Holocaust in American Life*, Houghton Mifflin, Boston, 373 p.
- Olson, M. (1982), *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*, Yale University Press, New Haven, London, 276 p.
- Piketty, Th. (2014), *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press, Cambridge, Mass., London, viii + 685 p.
- Plumb, J. H. (1969), *The Death of the Past*, Macmillan, London, 153 p.
- Rosa, H. (2013), *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*, Columbia University Press, New York, 512 p.
- Rosanvallon, P. (2011), *La société des égaux*, Editions du Seuil, Paris, 432 p.
- Schmid, H. (2009), "Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept: Zur Historisierung der Kategorie 'Geschichtspolitik'", in Schmid, H. (Hrsg.), *Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis: Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, ss. 53–75.
- Snyder, T. (2018), *The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America*, Tim Duggan Books, New York, 368 p.
- Umland, A. (2018), Yavlyaetsya li putinskii rezhim fashistskim? [Is the Putin's Regime Fascist?], *Gefter*, 7 May, available at: <http://gefter.ru/archive/24860> (accessed 04 March 2020) (in Russian).
- Winter, J. M. (2014), *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History [1995]*, Cambridge University Press, Cambridge, x + 310 p.

Рукопись поступила в редакцию / Received: 6.03.2020

Принята к публикации / Accepted: 7.09.2020

**Информация об авторе**

Копосов Николай Евгеньевич  
доктор философских наук, приглашенный  
исследователь  
Университет Эмори  
30322 США Джорджия, Атланта, ул. Южный  
Килго Сёркл СВ, 532  
E-mail: [nkoposo@emory.edu](mailto:nkoposo@emory.edu)  
Авторский ORCID: 0000-0001-8058-5106

**Information about the author**

Koposov, Nikolay Evgenievich  
D. Sci. (Philosophy), Invited Scholar  
Emory University  
532 South Kilgo Cir NE, Atlanta, GA  
30322 USA  
E-mail: [nkoposo@emory.edu](mailto:nkoposo@emory.edu)  
Author's ORCID: 0000-0001-8058-5106